

Живёт в Московской области в городе Лобня. Стихи пишет с 17 лет, до этого писал песни. Публично выступает около года. Победитель литературного арт-фестиваля "Ночь пера", финалист фестиваля "Русские рифмы". Автор двух печатных поэтических сборников "Уезжаешь из города" (2015 год) и "Сады" (2016 год). Готовится третий.

**В ОКТЯБРЕ Я ГРУЦУ И ГРУЦУ,
КАК ПОЛОЖЕНО, В РИФМУ**

1.

В октябре я грущу
и грущу, как положено, в рифму.
Содой рот полощу,
поглощаю таблетки, жду зиму

и ныряю в плацкарт,
как в последнюю пристань и простынь.
Как приятно удрать
в старый город непрошеным гостем,
возвратиться туда,
в мир изогнутых линий балконов,
где речные суда
разбивают стеклянные волны,
где над патокой рек
смотрят вдаль, на Балтийское море,
двадцать горестных лет,
что, как тени брели за тобою.

2.

Дорогой Петроград,
не броди, не грусти, не сутулься,
Петроград, я так рад,
что к тебе невредимым вернулся,
что не просто зима
на носу, что не просто с волнением
выживаю с ума.
Зимы, к счастью, несут вдохновенье,
кроме прочих вещей,
неприятных ни духу, ни плоти.
Чья-то жёлтая тень,
чья-то жизнь вдоль проспекта проходит,
и туман из свинца,
архитектор высокого слога,
сводит краску с лица
века тёмного, но золотого.

3.

Петроград, сколько их
было, тех, кто тобой вдохновлялся.
Вот и мой скромный стих
в общей куще теперь завалялся.
Ты и есть тот брусок,
на котором распято искусство.
Ты и есть тот порог,
за которым бесчинствуют чувства.

Я грущу, Петроград,
я, как гость, оскорблён и обижен
от того, что тебя
в первый раз так отчётливо вижу,
твоих зыбких жильцов,
твою арию волн под мостами,
твою тысячу слов,
что, как баржи, плывут за устами.

4.

Я бы всё позабыл.
Я б, беззубый, бежал по проспекту
за тобой, может быть,
от себя, от кого-то, за кем-то,
я бежал бы, бежал
сквозь любую твою непогоду,
на бегу провожая, прощая, прельщая кого-то.
Вот он, лучший завод —
галерея высокого быта.
Вот он, твой теплоход —
дальний правнук простого корыта.
Вот он, рыжий погост —
ипподром в опереньи брусчатом.
Вот он, розовый мост,
на котором так просто прощаться,
дабы предвосхитить
эти легкие дни за плечами
от реки до реки,
от печали до новой печали.

ШУМ

«Ideology is everywhere". На родине шум.
Приближается шум. Продолжается шум. Шум нетленен.
Шум повсюду. За печью слоняется призрак-шатун,
половицы скрипят, крысы шаркают в груди поленьев.
Зренью выгоден шум. В диалектике это объект,
антитезис. Ей-ей, шум, поболее того — его семя.
Все, что есть пред тобой, орган слуха давно опроверг.
Можешь вырвать глаза. Все равно здесь беспомощно зренье.
Десять дней и сентябрь. Всё погибнет. Отечества нет.

Всё шумит: грузовик, легковая, асфальтоукладчик.
Шум повсюду: в груди, в унитаэном бачке, в кошельке,
в микрофоне МС, в чреве курвы, за печью, тем паче
не бывает частей, всё на свете едино, всё — шум.
Он твой компас, мотив, одновременно алиби, способ
убежать от себя, от материи, твой парашют,
твой соперник и друг, твой приход и смертельная доза.
Пошумим, пошумим. Ибо присно нам в родине жить.
Пошумим, хорошо пошуметь вечерком на террасе
или утром в кафе, или днем на сиденьях машин,
или ночью, шумя, бултыхаться верхом на матрасе.
Так в колодец плюют, забывая про физику. Так
на восточных волнах в легкой шхуне вздыхает славянка.
Наши предки мудры. Наша Азия тонет в стихах.
Затихают умы. Только горло одно наизнанку.
Шум повсюду — в садах, где, обедая, пчелы хрипят.
Шум повсюду — в цветах: в гладиолусах, ирисах, флоксах.
Шум в канаве, в мостках через эту канаву, в полях,
в борозде тракторов. Шум повсюду — и это так просто.
Шум в ударах копыт, от которых крошится земля.
Шум в тычке башмаков о родную мощёную площадь.
Шум в родителях, в детях, в любовницах, в жёнах, в друзьях,
Шум во мне, шум в тебе. Я стучу. Бьёт копытами лошадь.
Шу-шу-шу — это кто-то клянётся кому-то в любви,
Шу-шу-шу — это мать горько плачет над умершим сыном,
Шу-шу-шу — это банк выдает ипотечный кредит,
Шу-шу-шу — это пьянь у студента стреляет на пиво.
Приближаю тебя, дорогое безмолвие лет,
дорогая волна, что качает славянскую шхуну.
Десять дней, и сентябрь. Всё погибнет. Отечества нет.
Прихожане сложили тела — это выгодно шуму.
Шу-шу-шу — это Бог бесконечно страдает за нас,
Шу-шу-шу — это дева ныряет в объятия духа.
Боже мой, оглянись, сколько здесь рифмоплетствия глаз.
Зреньё — ты не чета бесконечной поэзии уха.
Значит, шумом пора насладиться, без букв, без цифр,
без оттенков, без форм, без объёмов, без линий, без точек.
Даже в кладбище шум, за спиною шумят мертвецы,
шум на плитах, в гробах, на крестах, в фотографиях. Впрочем,
пошуметь от души тоже надо, конечно, уметь,
пошумим, пошумим, кто сильнее, кто звонче, кто громче,
пошумим, ну же, ну, мало ль сколько осталось шуметь,

пошуми, твою мать, пошуми, пошуми, стань порочным!
Шу-шу-шу — будь смелей в этих нещекотливых делах.
Шу-шу-шу — не робей под большими глазищами века.
Шу-шу-шу — это рай обращается медленно в ад.
Шу-шу-шу — человек потерял навсегда человека.
Это жизнь? Да, пожалуй, наверное, всё-таки жизнь.
Преклонись перед ней. Преклонись, пусть она будет выше.
Только жизнь не молчит. Не молчит. Жизнь всё время шумит.
Будь таким же, как жизнь, пошуми, пошуми, да, шуми же!
Шу-шу-шу, шу-шу-шу, шу-шу-шу. Никого, ничего.
Наша родина застлана храпом царя-лицемера.
Но — политика шум, а история — эхо шумов.
Значит, близится шум. Ideology is everywhere.

И.П.

Когда нам будет лет по двадцать пять,
мы обречем стабильную работу
и будем это время вспоминать
с особой, я так думаю, охотой.
Ты будешь так же долговяз, плечист,
и мы при встрече радостной с тобою
пойдем в кабак в «счастливые часы» —
два критика в пальто прямоугольных.
И будут жены, может быть, у нас,
появятся, чем Бог не шутит, дети,
и, заказав «Василичей» поднос,
мы вспомним дни волнительные эти.
Я буду жить, мне кажется, в Москве,
в каком-нибудь недлинном переулке.
Ты — всё-таки уедешь, свой расцвет
найдя в Берлине или Петербурге.
Я буду горд, как прежде, что дружу
с тобой, пускай всё реже и спонтанней,
и с должной мне нервозностью скажу,
немножко подзаикиваясь: Ваня,
ты нравился мне и как человек,
и как, не побоюсь сказать, философ,
столь точно понимавший вся и всех,
двадцатилетний, угольноволосый,

не Фридрих, не Жан Поль, но, может быть,
один из тех, кто вышел не за рамки,
а просто не заметил их, и жизнь
очеловечил «шутками о мамке».
И под кабацкий полуночный шум
я на коленях чьих-нибудь нескладных
свой новый сборник криво подпишу:
«твой старый друг — писатель Белый Всадник».

В то утро возле нашего крыльца
сгущалась тень умершего творца,
курил студент и тряс в пакете мусор.
У мёртвых нет, я думаю, лица.
Весёлых среди мёртвых нет и грустных.
Пробыв, продумав двадцать с лишним лет,
я уразумеваю, что в ответ
на божий зов не должно пресмыкаться.
Шёл мокрый снег и присыпал пакет.
И тлела сигарета в тонких пальцах.
Как много их за нами, этих лиц,
как некогда полюбленных девиц,
как выцветших больниц, печатных знаков.
Шёл снег, и тихо плакал атеист
в другом конце двора у синих баков.
В то утро возле нашего крыльца
я был один — без веры, без лица,
никем не стёрт, не выброшен, не встречен.
Мне этот стих не сделать до конца.
Он, право, бесконечен, бесконечен.